



Евгения
Берлина
Чужой Бог



Евгения Берлина

Чужой бог

предоставлено правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17097355

Евгения Берлина «Чужой Бог»: Издательство «Кучково поле»; Москва;

2009

ISBN 978-5-9950-0048-8

Аннотация

Евгения Берлина – участница IX и XI Совещаний молодых писателей столицы. Её рассказы публиковались в «Московском комсомольце», «Литературной России», сатирическом журнале «Магазин Жванецкого» и других изданиях. Ю. Нагибин, Л. Новоженев, А. Кучаев, обращаясь к ее творчеству, отмечали оригинальный взгляд на многие явления нашей жизни, литературный дар. Евгения Берлина – лауреат отдела сатиры и юмора «МК».

Авторская стилистика произведений полностью сохранена.

Содержание

Предисловие	4
Часть I	7
Ощущения дня и ночи	7
Салон Розы Крейн	14
Жилец	23
Чужой бог	31
Сухое полотно юга	38
Сынок	43
Он и я	46
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Евгения Берлина

Чужой Бог

Предисловие

Она смешно писала о серьезном

То были 80-е годы. А точнее, их середина. Нам, тогда молодым и задорным, казалось любое море по колено. Ведь в воздухе витали надежды, мы ощущали меняющийся мир. Точнее, нам казалось, что это мы изменяем мир. По крайней мере, мир литературы, поэзии... Мы, начинающие, молодые литераторы, писали о смешном, и нам казалось, что писали мы смело, даже рискованно. На самом же деле, все было не так-то просто, нас, увы, не печатали. С ужасом переступали мы пороги издательств, солидных журналов, многотиражных газет и получали от ворот поворот. И тогда наши творческие порывы, наши желания иметь своего читателя подвигли нас, пятерых-семерых решительных «первопроходцев», создать свой печатный орган. Под крышей редакции газеты «Московский комсомолец» мы нашли прибежище для «непечатных» текстов, то есть тех текстов, которые отвергались редакторами журналов, цензурой. Мы точно вытянули из огромной колоды счастливый выигрышный билет.

«Полоса сатиры и юмора» в популярной молодежной газете стала неким троянским конем, под видом которого мы дарили читателям хорошую прозу и хорошую поэзию. Мы жили под постоянным дамокловым мечом фразы «это не смешно». На самом же деле умный, думающий читатель ощущал в наших публикациях глубокий сарказм, даже издевательство над обывательскими принципами тогдашней жизни. Наша полоса мгновенно стала популярной, потому что мы публиковали юмористические, талантливо смешные, я бы сказал, саркастические тексты.

То, что я сказал, это преамбула к воспоминанию о Жене Берлиной, недавно ушедшей из жизни.

Тогда, в 80-е годы, молоденькая, талантливая девушка принесла к нам в газету небольшие иронические рассказы, которые сразу заметил читатель. О чем они были? Да обо всем, что окружало нас всех, но что могла увидеть только она одна. Мне до сих пор помнятся необычные названия некоторых из них, например, «Мальчики террора», «Чужой Бог», «Салон Розы Крейн», «Этот Арабескин».

Именно в нашем издании, на нашей полосе возник маленький кружок добротных профессионалов слова. В него входили Игорь Иртеньев, Александр Кабаков, Владимир Вишневский, чуть позже появился Дима Быков... Одним словом, самые талантливые московские сатирики, юмористы были авторами нашего сатирического «ноу-хау». Среди них, я беру на себя смелость сегодня утверждать, одной из самых

ярких, активных и подающих надежды была Евгения Берлина. Недаром она принимала участие в совещаниях молодых писателей Москвы, ее рассказы публиковались в солидных столичных изданиях, а Юрий Нагибин верил в ее литературный дар.

Я рад, что эта книга напомнит о Жене поклонникам ее таланта, всем, кто ее знал, и привлечет новых ценителей ее прозы.

Лев Новоженев

Часть I

Ощущения дня и ночи Старая женщина

Говорили за ужином о гастролях областного театра, ценах на рынке, болезни главного врача больницы, не доверявшего коллегам и уехавшего лечиться в Киев, о страхе смерти.

– Этот страх – сильное движение души, – сказал наш гость Иван Федорович, майор в отставке. – Человек совершает иногда непонятные ему самому поступки.

– Вот почему наша Анна Сергеевна Минская собирается в Москву перед смертью, – воскликнул второй гость, служащий фабричной конторы. – Наверное, и бедную старушку мучают страсти.

Последние слова он произнес с иронией и для усиления впечатления взмахнул рукой. Гости засмеялись.

Минская была дочерью директора и совладельца фабрики, сбежавшего еще во время революции. В поселке говорили об огромном богатстве, оставленном ей и ее матери. Теперь Минской было уже семьдесят пять лет.

– Я была у нее, – сказала одна из старых женщин. – Она и вещи уже собрала. Какой огромный черный чемодан стоит

посреди комнаты.

Вновь стало тихо. По лицам наших гостей было видно, что каждый по-своему переживает это известие, давая волю во-ображению. Мысли о богатстве, пестрой и шумной столич-ной жизни, независимости – и сразу укор себе за мечты, про-тиворечащие идеалам, смущение читалось на лицах немоло-дых и милых нам людей.

Темнота ночи, плотная и глубокая, надавливала на окон-ные стекла, и они казались вздутыми.

– А когда она уезжает?

– Завтра.

Скоро начали прощаться. Раньше всех ушла Маргарита Львовна Кирина, маленькая суетливая женщина с длинным лицом.

Торопливо шла она по улице, направляясь к дому Мин-ской. Единственной мыслью ее было: «Не опоздать!»

Маргарита Львовна работала в аптеке, где покупала ле-карства Минская. Надежда многих лет на то, что Анна Сер-геевна станет ее приятельницей и когда-нибудь расскажет о своем богатстве, теперь исчезла – уедет Минская и забудет родной поселок.

Вот и дом Минской. В лунном свете особенно подробно увидела его перед собой Маргарита Львовна. Он был разде-лен на несколько квартир, крылечки и черные тени окружа-ли его.

Маргарита Львовна приблизилась к дому так близко, что

ощутила прелый запах деревянной стены и прильнула лицом к окну.

Анна Сергеевна Минская, аккуратная старушка с удивленным, почти детским выражением лица, этот вечер проводила в полном одиночестве.

Приятельницы, не покидавшие ее весь день, ушли засветло. Она сидела в кресле – уже проданном, как и вся мебель. Мысли ее были далеко. С наивной верой в счастье и любопытством ожидала она новой жизни в Москве у дальних родственников.

Жизнь ее в родном поселке была отягощена постоянным чувством вины: сначала перед матерью, потом перед другими людьми за то, что они с матерью из «бывших».

Анна Сергеевна долго не сознавала, что это чужая вина, зачем-то принятая ею.

Мать ее после бегства мужа демонстрировала поселку свою печаль и свое величие, но более всего жила презрением, что привело ее душу сначала к опустошению, потом к унижительной покорности жизни.

Анна Сергеевна любила мать нерассуждающей любовью и всегда оставалась возле нее, хотя и завидовала втайне поселковой комсомолки.

Взрослой девушкой, желая искупить мучающую ее вину (и опять не понимая, что это чужая вина), поступила работать в больницу, выучилась на акушерку.

Жизнь ее прошла в заботе о других людях. Она не знала

любви к мужчине и до сих пор со стыдливостью думала о такой любви, что не мешало ей ловко принимать роды.

Сейчас она размышляла, будут ли любить ее родственники и как встретят.

Темное окно, неровно покрытое отсветами электрической лампы, было прямо напротив нее. Вдруг световые пятна в левом углу его ожили, в них проступило чье-то лицо, потом незапертая дверь, ведущая на узкое крыльцо, отворилась. Минская увидела женщину.

– Что тебе надо? – спросила Анна Сергеевна, не узнавая ее.

Женщина подошла ближе. В ее наклоненной вперед фигуре, в умоляющих о чем-то глазах было столько унижения, что Минская испугалась. Оттого она не сразу вспомнила и узнала Маргариту Львовну.

– Анна Сергеевна, – слабым голосом сказала пришедшая. – Здравствуйте.

Минская не двигалась и молча глядела на гостью.

– Анна Сергеевна, дорогая, мне жалко будет расставаться с вами, – повторила Маргарита Львовна с нарочитой горестью.

Она стояла уже близко у кресла, и фигурка ее в длинном пальто с круглыми пуговицами казалась Анне Сергеевне жалкой.

«Отчего она так унижается?» – подумала Минская, испытывая неприятное сейчас чувство жалости к гостье.

– Анна Сергеевна, у меня дочь, – торопливо продолжала гостья, – Анна Сергеевна, миленькая...

Глаза Маргариты Львовны блестели. Мысль о том, что от теперешнего разговора зависит ее жизнь, удесятреряла силы и вдохновение.

Страх недополучить чего-нибудь от жизни давно уже владел ею и делал несчастной.

Минская сочувственно смотрела на нее. Она мало знала Кирину, но считала ее доброй женщиной.

«Чем я могу помочь ей?» – думала Анна Сергеевна.

– Дорогая Анна Сергеевна, ну зачем они вам одной? – воскликнула Кирина после долгой паузы, – зачем вам такие деньги? – Лицо ее покрылось потом, губы дрожали.

Тут только Анна Сергеевна поняла смысл ее просьбы. Ей стало стыдно своей жалости.

– Пойдите прочь, – прошептала она.

– Не-ет, – вскрикнула Кирина, невольно отступая на шаг и чувствуя, что все пропало. – Вы все равно умрете скоро. Да-да.

Злоба исказила ее лицо.

Минскую охватил ужас, и она вновь не вполне соединяла знакомую работницу аптеки и жестокого призрака, подступающего к ее креслу.

– Бери, – крикнула она призраку, указывая рукой на чемодан, – здесь все, что у меня есть. Маргарита Львовна опустилась на колени возле чемодана.

Она, подчиняясь охватившему ее отчаянию, уже не думала, что делает, и в душе не было чувства, способного остановить ее.

Чемодан раскрылся. В нем сверху лежали пакеты, кульки. Маргарита Львовна разворачивала их и бросала на пол. Гречневая крупа, засушенные фрукты рассыпались по крашеным доскам.

Наконец, скомкав белье, она достала из чемодана завернутый в белую простыню сверток, в нем что-то зазвенело.

Улыбаясь злой, неестественной улыбкой, Маргарита Львовна развернула его. Серебряные ложки и вилки тускло заблестели. Кирина взяла одну ложку и приблизила к глазам.

– Немецкое, – сказала она деловито слегка изменившимся голосом.

Анна Сергеевна с удивлением смотрела на нее.

– Бери, – повторила она.

Торопливо завернув серебряные ложки и вилки в ту же белую простыню, Кирина прижала их к груди. Она оглянулась на Анну Сергеевну.

– Я ухожу, – зачем-то сказала она и в то же мгновение, когда услышала свой хриплый, будто чужой голос, увидела себя со стороны – жалкую, сломленную страшным своим поступком – и инстинктивно поняла, что видения этой ночи будут преследовать ее всю жизнь. Но сверток она не в силах была оставить в комнате.

– Я презираю вас, – крикнула она Анне Сергеевне с ме-

щанским величием, – потому что вы из «бывших».

Дверь за ней неслышно затворилась.

Салон Розы Крейн

Этот дом построил ее отец в маленьком среднеазиатском городке еще до войны. Он привез из России старую мебель, картины, реликвии своей семьи. В голодный сорок второй они ели похлебку из собачьего питомника, которую продавал сосед. Вскоре отец умер, а девочки выжили. Старшие уехали одна за другой: Анна – на целину, Алина – в Сибирь, учительствовать. Роза донашивала платья старших сестер – длинные, шитые домашней портнихой по вкусу отца; в комнатах сладковато пахло пылью от тяжелых портьер и ковров, прела ткань и истончались цвета.

Она была молчалива, сдержанна, мечты и обрывки воспоминаний, чтение и музыка по вечерам – все, что составляло наслаждение ее страстной натуры.

Роза думала о том, что ей суждено умереть среди этих старых вещей, думала с покорностью и детским величием. Вечерами она часто играла на фортепьяно под истошные крики мальчиков, купавшихся в глубоком арыке напротив ее дома, – чистые звуки резко пробивали толстый горячий воздух, и, казалось, звучали неуместно среди простого, грубого быта недавних беженцев. Наверное, поэтому ходили упорные слухи, что Роза развратна, по ночам к ней приходят мужчины и можно услышать шепот и смех, если прижаться ухом к стене, сложенной из легкого, кустарного обжига кирпича. Воз-

можно, слухи были еще и неосознанным мщением женщин за то, что у нее был дом, старинные статуэтки и подсвечники, портреты на стенах, тяжелые скатерти, вещи, в которых жило прошлое.

Отец и его братья в юности были революционерами, большевиками, дядя Розы называл себя «палачом революции». Точно из такого же дома в России они уходили воевать и не возвращались. Сестра Анна, уезжая по комсомольскому призыву на целину, с пафосом говорила о гибели мировой буржуазии.

Розе казалось неестественным, что она ведет скромную, целомудренную жизнь в доме, где все говорило о страстной, чувственной жизни и откуда можно было отправиться только на подвиг. И в свои тридцать шесть лет она решила вновь вступить в спор со временем, обросшим ракушками пустых слов и ложных понятий, – точнее, она решила хотя бы в своем доме вернуть время, когда на лицах ее дядей-мальчиков в длинных шинелях и кожанках застыло суровое вдохновение.

Наверное, это была просто поздняя попытка вернуть словам их истинный смысл – она понимала, что невозможно жить в чужом времени.

Ее глаза были тверды и бесцветны, она мечтала, что создаст сообщество людей будущего, истинной веры, – в конце шестидесятых общество уже медленно впадало в глубокий сон, автоматически твердя большевистские лозунги.

По средам и пятницам ее дом был открыт для многих,

включая и подростков. Смутное любопытство сменяло страх и робость перед старшими, когда Роза Крейн говорила о революции, о свободной жизни, которая началась для всех граждан, о святости тех, кто верит идеям революции до сих пор. Розе хотелось видеть тайный восторг, она как будто возвращалась к себе самой – маленькой честолюбивой школьнице.

Мальчиков в десять часов вечера отправляли спать, взрослые расходились только после двенадцати. У подростков оставалось ощущение, что они приходили в чужое время, канделябры и статуэтки казались им музейными экспонатами, как, впрочем, и малознакомая музыка, и рассказы Розы о дядях-комиссарах. Убийства не удивляли мальчиков – они были детьми тех, кто много убивал на войне, – их удивляло, что можно и должно «умереть за идеалы», как говорила им Роза Крейн. Вернее, они переводили ее слова в другую плоскость: можно убить, чтобы сохранить свою жизнь, отомстить за страну, хорошо и правильно убивать фашистов. Они так же, как и Роза Крейн, ни во что не ставили человеческую жизнь, но воспринимали все более приземленно, просто – увлечение Розы идеей революции смешило их.

Роза, когда уходили гости, внимательно оглядывала себя в большом старинном зеркале, стоящем в прихожей, дотрагивалась до подбородка, седеющих волос. В ней теперь часто просыпался почти болезненный интерес к себе, как будто она старалась почувствовать, сколько еще жизни осталось в

ее теле. Взгляд ее часто был напряжен и жаден: зажигая свечи перед фортепьяно и на столе, она думала о своих сестрах, об отце и пыталась угадать, такой ли они хотели видеть ее. У нее остались искаженные представления о мире, и общество, которое она хотела создать, было смесью мещанства и удешевленных идей коммунизма.

У нее собирались разные люди. Приходил старик, знакомый отца, который, желая быть галантным, сурово говорил дамам:

– Предать женщину – это все равно что предать Родину.

Дамы улыбались. Две из них были ровесницами Розы, это они сплетничали о тайных страстях Розы и ходили к ней постоянно, чтобы заметить следы грехопадения в полутемных строгих комнатах.

Бывал здесь и музыкант, преподававший пение в школе, и завхоз Дома пионеров, мечтавший когда-нибудь купить статуэтки и картины у Розы. Именно он более всех и ухаживал за ней, целовал руку и смеялся искусственно, как женщина, которая хочет нравиться.

Для Розы Крейн это время – годы выживания и разговоров о том, как выжить, – казалось остановившимся, но именно с людьми, каждый из которых радовался тому, что он выжил и живет, она чувствовала себя человеком особенным.

Иногда мысль о том, что ее жизнь – расплата за чужие страсти, пугала ее. Но салон ее продолжал открываться по средам и пятницам, и упрямый завхоз нес цветы в половине

седьмого и сморкался возле крыльца, перед тем как войти. Здесь говорили о прошлом, стараясь угодить Розе, о великой революции, которую многие из этих людей не помнили или ненавидели.

Как-то учитель музыки привел своего знакомого, бывшего музыканта, служащего теперь в конторе в районе. Хотя он и представил его, в первую очередь, как музыканта, тут же сказал, что со времен голодных пятидесятых инструмент отсутствует и накопить на новый его бедному товарищу не удастся до сих пор.

Очень худой, коротко стриженный человек, еще не понимая, что выдали его тайну, жадно смотрел на фортепьяно. Только через несколько минут по насмешливым взглядам гостей он понял, что учитель музыки одной фразой сделал его для общества этих людей нищим клоуном, музыкантом, забывшим нотную грамоту.

Они остались наедине случайно: завхоз торопился к родственнице на день рождения, учитель музыки, обремененный большой семьей, рад был не кормить ужином бывшего приятеля, а дамы, заговорщицки переглянувшись, специально ушли вместе, чтобы потом рассказывать знакомым, что «наконец-то натура Розы раскрылась в полной мере», «ах, оставить у себя незнакомого человека, мужчину».

А они напряженно рассматривали друг друга. Мысль о любви даже не приходила Розе: любить седого нищего человека в потертом костюме, столь жалкого, казалось, проти-

воестественно. По-видимому, Роза думала не о любви, а о самоутверждении: она начала рассказывать о своей семье и верности идеалам, он засмеялся и притих только тогда, когда она повторила, что ее дяди были комиссарами, а старший из них называл себя «палачом революции».

Он язвительно подумал, что оказался в доме «новых интеллигентов», «проклятых победивших», как говорили в его семье.

– Дети палачей сохраняют величие, утраченное их отцами, – сказал он насмешливо. – Им ничего более не остается.

Она подумала, что этот человек слишком бесцеремонен, он не имел право так говорить с ней. Временами в ней вспыхивала злоба.

И все-таки она молчала, когда этот жалкий человек ночью оставил свою раскладушку и лег рядом с ней, – она была одинока и тщеславна. Только стена все время казалась ей огромным живым ухом – так боялась она своих приятельниц и всю ночь думала об этой стене.

В нем тоже не было страсти, его чувством было отчаяние. Он казался себе раздробленным в мелких чувствах и желаниях.

Он жил у нее три недели.

– Странно, что мы чертовски похожи, – сказал он как-то. – Дочь палача и сын уничтоженных им. У нас нет ничего, кроме прошлого.

Только тогда она поняла правду и замерла с широко от-

крытыми глазами. Роза не знала, что сказать ему, первым движением ее души было защитить свой дом от этого больного, язвительного и несчастного человека, секунды она желала его смерти, как будто только так он мог исчезнуть из ее жизни. Но потом застонала в отчаянии.

Была страшная закономерность в том, что они встретились. Их жизни были, по сути, жалким отражением другого времени, они были раздавлены чужим временем, и страсть их изначально была обречена и мертва, не принося счастья и покоя.

Ей, не склонной к сентиментальности, показалось, что на нем истлевают рубашка – так сильно и точно было ощущение распада. Но только что она целовала и гладила его тело, касалась губами этой рубашки.

Отчего-то она подумала о Боге и прошептала:

– Я продам дом и уеду. Он засмеялся:

– Ты не уедешь, потому что тебе некуда ехать, твои мечты и идеалы остались только в этих комнатах.

Через минуту он воскликнул:

– Почему именно из таких мещанских бесцветных домов выходили самые жестокие революционеры? Они непременно хотели взорвать время.

Она молчала, потом сказала обиженно:

– Да, мы не были нищими, революция – наш идейный выбор.

Его насмешила и эта фраза, показавшаяся ему манерной,

и ее неумение быть женщиной, любить.

Как бы в подтверждение его мыслей она твердо и с презрением посмотрела в его глаза.

Она казалась себе сильной, беспощадной – и хотела быть такой, и в этом находила радость и смысл.

Он думал о том, что давно все потерял, когда-то цеплялся за свое умение музицировать, за музыку великих – как за спасение, но давно потерял и это.

– Я ненавижу твой салон, твой пошлый салон с завхозом, эти канделябры и подделки, здесь твое – только мертвые мальчишки-палачи, – он говорил и тряс ее за плечи.

Роза с ужасом чувствовала, что желание быть с ним сейчас сильнее ее. Она не могла говорить: произносить слова было физически больно от чувства стыда. И все-таки еле слышно она просила его остаться.

Он ясно понимал, что, говоря ей это, защищает себя. Он привык постоянно защищать себя, бояться себя и прошлого, которое надо было забыть, потому что давно не существовало юноши-музыканта, давно в нем не было гордости и чувства родины.

Для того чтобы отомстить этому дому, ему надо было просто уйти, – он догадался, только взглянув внимательно на Розу.

Когда он ушел, Роза Крейн заперлась в своем доме. Ни в среду, ни в пятницу она не открывала двери своим приятелям, они долго стучали, мальчишки кричали ее имя звонкими

голосами, но она даже не ответила им. Салон закрылся.

Она то играла на фортепьяно, то ходила по комнатам, взглядываясь в твердые и бесцветные глаза мальчиков-комиссаров. Она отлично понимала значение их взглядов: наследство, светлые мечты и реликвии семьи она была готова отдать случайному нищему, она целовала его и просила остаться в их доме, доме солдат революции.

Собственное кощунство день за днем медленно убивало ее.

Наверное, виной были ее романтичность, и тишина маленького города, которую нарушали только крики детей, и усталые женщины – огромное живое ухо, денно и нощно прижимавшееся к стене, чтобы слушать, запоминать, сплетничать, и ощущение того, что идти действительно некуда, и огромный портрет любимого брата отца – ее дяди, который называл себя «палачом революции». Когда она в сумерках взгляделась в огромную, щедро увеличенную фотографию-фотопортрет, – она отлично поняла, что ей надо делать: Роза Крейн достала старый револьвер отца, написала письма сестрам и застрелилась.

Жилец

У Лейкиных, супругов из города Балты, появился новый жилец.

Он переехал к ним летним вечером, когда повсюду уже проступали темные пятна ночи, а небо набухло и цедило запах свежести.

Соня Лейкина стояла на крыльце, вытянув руки вдоль тела, как солдат в строю, и толстое лицо ее выражало любопытство.

Новый жилец был худеньким молодым человеком, в руке он нес клетчатый чемодан. У крыльца он остановился и сказал:

– Простите, пожалуйста, я договорился о комнате с вашим мужем. Соня усмехнулась, слушая эти вежливые слова и этот красивый, мягкий голос. «Чего еще надо, – подумала она неопределенно. – Такой вежливый жилец».

Вслух она громко (так, чтобы слышали соседи и увидели нового жильца) сказала:

– Здравствуйте.

Она повела жильца в свою любимую комнату, где стояли сервант с хорошей посудой и полированная тумбочка.

– Вот, – гордо сказала Соня.

Жилец поставил чемоданчик и сел на диван, видимо, очень довольный комнатой.

Соня испуганно посмотрела на него, потом покраснела. Краска смущения туго надула ее лицо и поползла по шее.

– Здесь спит мой муж, – сказала она шепотом. – Это лучшая комната.

Жилец встал.

– Виноват, – оказал он, чуть поклонившись. – Прощу прощения. Соня сама взяла его чемодан и привела в маленькую комнатку за кухней. – Это моя? – спросил жилец, улыбаясь. – Не ошибаюсь?

Соня молча кивнула. Сначала она тоже хотела улыбнуться жильцу, но потом подумала: «Пусть ему улыбается мой муж» – повернулась и пошла на кухню готовить ужин.

Вскоре пришел ее муж Михаил. Он работал на заводе грузчиком.

– Устроила парня? – спросил он, почесывая щеку. – Он приехал на месяц из Харькова в отдел Загоруйко.

– Я не люблю Загоруйко, – сказала Соня, накрывая на стол. К чаю вышел жилец. На нем были летние брюки и рубашечка, отчего он казался еще тоньше.

«Такой худой, – думала Соня, стоя около мужчин и скрестив руки на груди. – Куда смотрела его мама?»

Соне было сорок лет, лицо ее запоминалось выражением детской хитрости и доброты. Она была очень толста, но быстра и проворна. Она подала мужчинам пирожки с маком и сказала жильцу:

– Пожалуйста, кушайте пирог.

– Виноват, – сказал жилец, приподнявшись, – Леонид. И очень рад знакомству.

«Живое слово, – подумала Соня. – Веселый человек». Она подала ему руку, но так неожиданно и неловко, что чуть не задела нос жильца, отчего он смутился.

– Виноват, – почему-то повторил он.

Михаил приблизил к жильцу широкое скуластое лицо.

– Зачем ты извиняешься? – громко спросил он. – Разве она довольна жизнью? – Он подумал и добавил грустно: – У меня хорошая зарплата.

Жилец кивнул, допил чай и ушел в свою комнату. Скоро и Михаил отправился спать.

Совсем стемнело. В Балту приехала ночь и нахально расселась, как старая мешочница на вокзале.

Соня еще готовила обед на следующий день, постирала кое-что, осмотрела строго свой дворик, натываясь взглядом на густую темноту, потом заперла двери и села на террасе вязать. Она так задумалась, что не заметила, как на террасу вышел жилец.

Она сидела, привалившись к столу и расставив немного ноги, огромная спина ее венчалась кудрявой головой, и нежности в ней было мало.

«Да, большая женщина», – подумал Леонид и подошел к ней.

– Я не сплю, – сказал он вздыхая. – И смотрю на звезды.

Он стал медленно прогуливаться по террасе.

«Что у меня есть в жизни? – подумала Соня. – У меня есть муж и мама в Каменце-Подольском».

– Вы целый день в работе, – сказал жилец, прогуливаясь. – Для этого надо иметь крепкое здоровье.

Он зевнул и стал напевать тихий, нежный мотивчик. Сердце Сони быстро забилося. Оно было одиноко, окруженное ленивым телом.

«Это бойкий молодой человек, – наконец подумала Соня. – Это тонконогий болтун, каких много по всему свету».

Но сердце не слушалось ее, оно начало болеть. Жилец, напевая, ушел с террасы. Соня встала и замерла, прислушиваясь. Было тихо.

– Мне смешно, – сказала Соня. – Жилец заплатит деньги за комнату. У жильца красивые глазки.

Это так мало говорило о ее чувствах – привычные оценки балтских женщин. Что значат эти слова о глазках, об одежде и приличия, когда сердце начинает жечь огонь.

«Это будет утром, – подумала Соня, – ясным утром начнется мой последний день».

Она погасила свет на террасе и вошла в дом. Лунный свет указывал ей дорогу. Она легла рядом с мужем. Михаил храпел и постанывал во сне.

«Миша, – серьезно подумала женщина. – Я могу тебе изменить».

Михаил, поворачиваясь, толкнул ее.

«Я тебе изменю, дурак», – подумала Соня.

Она дотронулась до горячей спины мужа. Но ей показалось, что она лежит рядом с чужим человеком. Она приподнялась и старалась в зыбком свете разглядеть его лицо, но не смогла.

Утром Соня встала раньше всех, расчесала волосы, натянула новый свитер и юбку. Она возилась на кухне, когда мимо нее прошел жилец.

– Здравствуйте, – громко сказал он.

Соня усмехнулась и сразу покраснела. У молодого человека был такой внимательный и насмешливый взгляд, что Соня загордилась от этого взгляда, как от поцелуя.

Молча прошел завтрак, рыжее солнце было свидетелем этого мучительного для Сони часа.

Мужчины ушли на работу, а Соня отправилась на рынок. Солнце согревало ее, висело над ней бесконечным слепящим облаком, и Соня, чувствуя, как горит ее лицо, думала: «Он подошел ко мне и посмотрел на меня. Он наклонил лицо».

На рынке она купила много всякой снеди, самой дорогой, и живую курицу в придачу.

– Сонечка, – крикнула ей соседка Степанида Львовна, – что за наследство получил ваш муж?

Соня открыла кошелек – он был пуст, она истратила даже те деньги, которые утаивала от мужа.

«Был поцелуй, – со злобой подумала она о жильце, для угощения которого и были истрачены деньги, – был долгий поцелуй в темноте, робкие губы мальчика, сердечная сла-

дось».

Она сунула кошелек в карман юбки и тяжело пошла к дому, раскачиваясь.

Курица сомлела от страха и слабо кудахтала. «Разорение, – думала Соня, – дорогая еда, поездки в Котовск и Одессу, тихий вежливый смех, я продаю шубу и брошь мамы».

Она вошла в свой дом. Жара тяжелой пылью висела в комнатах.

«У меня взяли за долги дом, профсоюз выгнал меня с работы, я нищенка, кутаюсь в серый платок и еду к нему в Харьков», – она так ясно представила себе общий вагон, толкотню и себя с сумкой, в которую был кое-как затолкнут последний скарб, что вспотела.

«Михаил давно меня бросил, ушел к Степаниде Львовне, и они с террасы смотрят мою любовь».

Соня села на стул и замерла, возле ее ног ходила курица. Вдруг на террасе хлопнула дверь, и вошел жилец. Он увидел покупки и одобрительно сказал:

– Ого, какой обед будет, – и уселся на стуле нога на ногу, готовясь начать разговор. – Меня отпустили с работы, – сказал он. – У меня температура.

Соня молча посмотрела на него, потом на курицу. Курица внимательно взглянула на нее – мудрость была в обоих взглядах.

– А руки холодные, – сказал Леонид и дотронулся до ее руки холодными пальцами.

«Чужая комната, розовые обои, – думала Соня, – крики уборщиц в коридоре и холодные руки этого мальчика».

– Вы будете меня лечить? – весело спросил Леонид. – Хоть меду дайте. А с меня – к закуске.

Он подмигнул Соне, потом курице. «Гостиница на окраине Харькова, золоченый карниз, плохое белье, – думала Соня, – ожидание, вечное ожидание и город, как балаган, за окном».

Леонид сказал игриво:

– Вы все-таки жестокая женщина, Сонечка.

«Измена, – подумала Соня. – У него девчонка в Харькове, он бегают к ней, и все вечера я сижу одна. И нет покоя».

Леонид с обидой еще раз взглянул на нее, встал и подошел к одному из широких окон террасы.

Соне был виден его затылок, аккуратно уложенные волосы и просвет белой кожи между темной полосой волос и синим воротничком рубашки.

«Убийство, – вдруг подумала Соня и вздрогнула. – Неудачная попытка, испуганные глаза и кровь на этой нежной шее».

Ей стало холодно, озноб пробежал по ее телу.

– Это спектакль, – громко сказала она. Жилец обернулся на ее голос.

– Я снимаю вас с комнаты, ко мне приедет родня из Каменца-Подольского, – хрипло сказала Соня.

Вскинув голову и презрительно улыбаясь, Леонид пошел

в комнату. Скоро он уже уходил со своим клетчатым чемоданом, и слабые плечи его были приподняты.

Соня долго сидела неподвижно, потом вздохнула, убрала еду со стола и пустила курицу гулять в свой маленький дворик. Вечером Михаил спросил у нее:

– Зачем ты прогнала парня?

И только тогда она заплакала, все ее тело, ее детская душа плакала, и горе ее было бесконечно. Она уткнулась лицом в плечо мужа.

«Женщина, разве она думает, – размышлял Михаил, глядя на розовый закат. – Она пуста, как смех ребенка».

Этот вечер был тихим и томным в городе Балта, природа дышала свежим ртом, и все шептало о любви.

Чужой бог

Он жил не разумом, но страстью...

Айзик был бухарским евреем, еще молодым, сильным, со смуглым, ярким лицом. Он жил в большом русском городе, который упорно и постоянно отторгал его от себя.

У него скапливались деньги, заработанные черным, унижительным трудом в котельной, и он шел к золотым витринам, в грязные кафе и наслаждался коричнево-сожженной куриной ножкой или куском серого духового мяса, съедал и от пресыщения плохой едой становился безумным.

Свет ночного города лизал его лицо, и чужие страсти, которыми дышал этот город, казались порочными.

Можно сказать, что он жил, извращенно имитируя жизнь города, пряча детский стыд и тоску по дому в бесстыдстве бездомной жизни.

Это была утонченная параллель: ОНИ и Я. ОНИ снисходительно улыбались его болезненной стыдливости, грубой одежде, снисходительно шутили, с любопытством, долго и жестко смотря в глаза, – ему казалось, что возле глаз проступает кровь, он вытирал лицо ладонью.

Его плоть была сильной и ум хитрым, для того чтобы плоть могла выжить. И главная хитрость заключалась в том, чтобы не показать ИМ, как он любит свою плоть, а делать

вид, что любишь ИХ плоть: жадно улыбаться, полукланяться, кивать чужим телам на улицах и в домах, отгоняя смутный детский страх быть задавленным чужой плотью.

Айзику всегда казалось, что его тайной была не душа, а плоть.

Он пришел в этот город церковей и чужой памяти, потому что не хотел быть евреем.

В детстве его дразнили еврейчиком за то, что он продавал в школе жвачки и за деньги списывал у отличников. Когда его, сильного юношу, начал мучить вопрос, почему он родился евреем, он уехал в чужой город, где, как ему казалось, можно было выбирать. Выбирать себе жизнь, национальность, бога.

Айзик жил в большой коммунальной квартире на Красносельской улице, возле моста. Поезда шли под мостом перпендикулярно красному трамваю, пересекающему мост, – механическое усилие, создающее красоту.

Он хотел забыть свой шумный дом – прямой ряд маленьких комнат низкого домика в старой части Ташкента – и, отрицая красоту своего детского мира, нарушил гармонию, и душа его замерла в ожидании.

Своих соседей, таких же лимитчиков, Айзик сторонился. Но одиночество было невыносимо, и он шел на улицы, в пыльные комнаты, где собирались случайные компании, – странный, пугающий сочетанием малинового шарфа, обмотанного вокруг шеи, и тяжелого смуглого лица, так тщательно

но скрывающий сильные чувства, что они проступали наружу резкой гримасой страдания или отчуждения.

Впоследствии знавшие его говорили, что в нем было слишком много животного и он хотел преодолеть себя, оттого и был несчастен. Впрочем, любившие его утверждали, что он хотел победить себя не разумом, но страстью, и попал в порочный круг.

Это был первый год его московской жизни, по воле судьбы его собеседниками были интеллигентные мальчишки из хороших семей, играющие в демократию, что было модно.

Шел 1985 год, приближались перемены, безумством отрицания тогда была охвачена вся Москва. Много говорили о том, что нужна вера в Бога, и более всего те, кто уже не мог ни во что верить.

И была влажная осенняя Москва, уходящий в глубину улиц вечерний свет – темный душистый свет осени, мягко обволакивающий город, слепой и чувственный свет, большой в чужом городе.

В большой неопрятной комнате разочарованные юноши убеждали друг друга, что жизнь бессмысленна.

– Социализм ваш сделал меня человеком толпы, а я ненавижу толпу, – говорил один из них; болезненное лицо его и маленькое, худое тело никак не сочетались с чувством постоянного, ненасытного протеста.

Другой объясняет Айзику:

– В отрицании больше смысла, чем ты думаешь, оно дает

прозрение...

– В чем же прозрение? – насмешливо спрашивает Нина, часто единственная девушка в этой компании. – Отчего ты считаешь, что можно вот так, с насмешкой, обо всех людях говорить?

И долгое молчание, болезненный юноша морщится, кашляет и наконец произносит с оттенком превосходства:

– Кто не понимает, я и объяснять не буду – это личное ощущение. Мне главное – себя понять.

Айзик стоит у двери и улыбается. Ему радостно, оттого что он понимает их обиду и неприятие жизни – он постоянно ощущает зависимость от этих чувств, и слова юноши о том, что в отрицании более всего смысла, потому что оно дает «возможность прозрения», он понимает как жизнь своей плоти. Его плоть всегда боялась и ненавидела, защищалась и боролась – он был пародией на их отрицание лицемерной власти, ненависти ко лжи.

На другой день Нина ведет его в церковь. Договорились они заранее, Нина попросила не говорить об их встрече ребятам.

Она волнуется. Серебряный крест на шее, платье с пришитой бахромой, оборками, сочетание красного и желтого, рождающее чувство незавершенности, – кажется, что ее худенькое тело путешествует по пестрым, разноцветным мирам тряпья.

В церкви, недавно отреставрированной, пахнувшей извест-

кой, она оставляет его у дверей, сделав знак стоять тихо, идет вперед и немного влево, не к алтарю, а к иконе Иисуса Христа, и жадно молится.

Айзик видит ее бледное лицо, быстро движущиеся губы, с виноватым видом выставляет она вперед руки, очень белые в полутьме.

Невнятный шепот вокруг, лицо девушки плывет перед ним, вдруг делается большим и жалким, как будто случилось что-то непоправимое, и ему становится неловко, стыдно, что он видит это.

Нина тихо зовет его и, когда он подходит, глубоко вздыхает, набирая в легкие побольше воздуха.

Неожиданное воспоминание заставляет ее застыть с полукрытым ртом, она шепчет громко, так, что и Айзику слышно, шепчет с какой-то трагической искренней вычурностью:

– Он страдание за нас принял, страдание принял...

Нина повторяет точно найденное слово с горестным восторгом, взгляд ее обращен к Иисусу. Айзик смотрит на икону – глаза Иисуса говорят о глубоком страдании и одиночестве.

Он мгновенно и бессознательно отождествляет себя с Ним. Айзик так далек от религии, что это не кажется ему кощунственным.

Тошнотворное чувство визгливого, суетливого отчаяния, отчаяния одиночества, как крик, подкатывает к горлу. Кажется, что надо менять привычное ощущение жизни, и стыдно самого себя, своей плоти.

– Он страдание за людей принял, – повторяет Нина. – Ты, наверное, знаешь, что он был евреем.

Они выходят в осеннюю Москву, с ее тайной красотой, постоянно отторгающей его: уходят вглубь предметы и вещи, отталкивает небо, в котором живут души умерших; они не могут любить его, чужого.

Нина испуганно смотрит на Айзика, смущается и скоро уходит. Айзик долго стоит неподвижно, потом оглядывается на церковь, на белый храм Божий.

Он долго вспоминал, он вспомнил, как отец говорил ему, что нет еврея без чувства страха.

Его отец, маленький сгорбленный торговец кепками, много раз повторенный в детях. Когда Айзик уезжал, отец сказал ему:

– Ты не еврей, если ты уезжаешь туда, ты никогда не будешь одним из них. Айзик вспоминал, и душный воздух чужих комнат и чужих слов мешал его дыханию. – Ты будешь всегда один, мой мальчик, – сказала на прощание его мать.

И это была та страшная правда, которая все-таки настигла его. Он знал, что уже никогда не сможет вернуться в свой далекий, шумный и богобоязненный дом.

Через несколько дней Айзик вновь пришел в эту церковь. Измученный своими мыслями, с какой-то неясной ему самому жадой мщениия, сжимая кулаки, остановился он перед иконой Иисуса.

Мысли его были, на первый взгляд, нелепы, но полны для

него глубокого смысла.

«Зачем он здесь? – думал Айзик. – Зачем он был таким? Страдание за всех принял... Зачем он убил в себе еврея?»

Глаза Иисуса смотрели нежно и равнодушно.

– Конечно, духовность, благородное движение души – в этом ваш Христос непревзойден, – говорил раздраженный юноша на следующий вечер. – И чтобы все выразалось в боли и страдании, непременно в боли и страдании – и в этом была та сила жизни, которая для Иисуса основа всего. И еще детское желание подвига.

Айзик, как всегда, стоял у двери и напряженно улыбался. Он был уверен, что знает об Иисусе больше, чем его приятели.

Сухое полотно юга

Пахнет раскаленной пылью, глухие стены, огромная терраса, крик ребенка, его движущаяся от меня тень, ее мгновенное растворение в толстой тени урюка, потом много лиц, голосов и тел и смешное движение вверх всем телом, движение над двориком.

Там было другое ощущение времени: оно было густым и тягучим и как будто совсем не двигалось.

Люди казались мне вечными, как деревья дворика и утопанная земля, время проникало в их тела и в их мозг, казалось, сочилось сквозь поры – они владели моим временем.

У старухи была странная склонность наслаждаться уродством. Нас сместило то, как она осторожно шла по двору, обернутому забором в форме неправильного прямоугольника, останавливалась за метр от распахнутой двери террасы и топталась на месте, как будто сама мешала себе идти. Позднее мы догадались, что плоские предметы казались ей вздутыми, тела воспринимались как причудливые формы воплощения жизни.

Сумасшедшая старуха тихо смеялась, рассматривая наши детские полуголые тела, – ей приходилось склоняться набок, чтобы выпрямить изображение молодых и сильных.

Мертвые формы – фотографии в комнате старухи, жизнь времен в тихом доме: люди в военной одежде, мечтатели,

брящающие оружием, мои родственники по материнской линии.

На фотографии старухе двенадцать лет. Она как будто отделяется от своего нынешнего старческого тела, жадно вглядываясь в фотографию, она еще повторяет его угловатые движения, но она уже молода.

Ее сбивчивый рассказ о первых днях революции наполняет комнату запахом смерти, для нее новая жизнь началась со смертей, она упрямо повторяет, что ей было суждено родиться старухой, раз она чувствует смерть раньше жизни.

... Черный пласт неба и черная кровь на ладонке девочки, сидящей у изголовья больного отца.

Они пришли в рассветный час, а отец бормотал что-то и не видел их, я первая их увидела, и они серьезно говорили со мной, они сказали, что началась революция, власть в городе теперь народная, и они принесли моему отцу, первому богачу в городе, слово «свобода». Они говорили только со мной, потому что отец не мог их услышать, он был в забытьи. Они принесли еще одно слово – «конфискация», они забрали деньги и золото из отцовского сейфа, долго ходили по дому, счастливые и потные. Отец вдруг открыл глаза и посмотрел осмысленно. Они встали около его кровати, и один из них, кашлянув, снял шапку. Он сказал нерешительно: «Вас будет защищать революция».

Конечно, ответом ему было молчание. Только резкий звук брызнул в комнату, и мы все вдохнули его в себя, отчего нам

показалось, что наши тела распадаются. Упал человек, стоящий ближе к двери, падая, он вопросительно посмотрел на нас, а мы почему-то – на моего умирающего отца.

Они убежали из комнаты ловить стрелявшего, а я осталась. Того, кто упал, я немного пододвинула к кровати, чтобы его не ударили дверью.

Выстрелов стало много, как камешков в коробочке, и я подумала, что совершается революция.

Все стихло, и никто не вошел в комнату. Тогда я прокралась на террасу и увидела во дворе моего брата, мертвого, сжимающего пистолет со счастливым, улыбающимся лицом, только глаза зажмурены. Я и его дотащила до комнаты отца и положила рядом с первым убитым.

Отец открыл глаза, посмотрел на мертвых у своей кровати и улыбнулся. Наверное, ему не хотелось умирать одному.

Я закричала и упала в забытие. А к вечеру не стало и отца.
... Темный южный вечер, и неподвижность ее лица, и мой страх, что я не пойму, пропущу что-то.

И ее рука на столе, на которую опирается легкое тело. Неподвижность ее тела воспринимается как усилие.

Она говорит, что было слишком много смертей и поэтому родился уродец – ее сын с большой головой и кривым телом. Его отца тоже убили, потому что он сам много убивал.

– Сейчас родились другие люди, а тогда время убило многих. Твой дед был добрый человек и убийца одновременно, везде запах крови, – сказала старуха.

Ее сын выстраивает свое тело согласно существующему в мире порядку: его голова предводительствует маленькому хилому войску тонких рук и ног, ссутулившемуся короткому телу, которое он старательно выпрямляет, и вытянутой шее.

Уродец презирает окружающий его мир, его слабый мозг ничего не помнит, оттого ему легко презирать и быть счастливым.

Он говорит о том, что надо подчиняться порядку: уродец искусственно прерывает историю чувств. Он продолжает серию убийств – он взялся убивать ненужные, как ему кажется, чувства.

– Существует порядок, не нами установленный. Мы должны только подчиняться и быть счастливыми, – говорит он невнятно. – Подчиняться и быть счастливыми.

На принадлежащем старухе куске земли неправильной формы уродец идет по ярко-зеленой траве. Он падает, я тороплюсь ему помочь подняться, но, подбежав, вижу, как он, весь в крови, смеется. Вместе со мной подходит старуха.

– Ему не больно, – говорит она. – Мертвые всегда рожают уродцев.

И смотрит неожиданно ясно и строго.

Старуха говорит, что вчера в клубе пели революционные песни, ее нарядили во все красное – она представляла революцию. Она смеется, ей вторит уродец:

– Дура, это было давно, ты забыла...

Старуха вдруг плачет, смех сползает куда-то в сторону,

отчего ее лицо огромно и расплывчато.

– Я не помню. Они пришли и убили время, – говорит старуха. – Их было много.

СЫНОК

Побили в драке ее сына, и мать пошла в школу жаловаться. По дороге она повторяла фразу, которую собиралась сказать учительнице: «Вот, сына побили, разве ж этому учите».

Сынок был бедовым, мать и сама порой била его, но тут пошла жаловаться.

«Мы тоже с правами, – думала она. – А если он без отца, то с матерью».

Ей хотелось встретить знакомых, чтобы высказать им свою обиду, но люди встречались все незнакомые и сердитые.

«Люди нынче, – с тоской размышляла она. – Злые, как японцы».

В школе она прежде всего разыскала техничку Валю, давнюю свою приятельницу.

– Вот, – громко сказала мать. – Я жаловаться иду. Рубашку порвал, штаны порвал.

Они помолчали. Техничка Валя, сама бездетная, жалела ее.

– Каких только не рождаете, – сказала она. – Ума не купишь.

Потом она показала, как найти учительскую. Мать пошла к учительской, ей было неловко подниматься по лестнице среди шумной ребятни, она беспрестанно натыкалась на ко-

го-нибудь, боялась зашибить, останавливалась и громко поучала:

– Чего носитесь? Лестница вон – камни одни.

На третьем этаже мать нашла учительскую, нахмурилась и робко постучала. Ей почему-то стыдно было ворваться, а так как она дома решила пошуметь и высказать свою обиду, то сердито подумала о сыне: «Лежит сейчас себе дома. Стыда нет».

Из учительской наконец вышла одна из преподавательниц сына – мать узнала ее.

– Вот, сынка-то побили, – быстро сказала мать, – разве ж этому учите.

Драка, знаю, – деловито кивнула учительница. – Петров, Евдокимов, Афанасьев.

Ну вот, – с облегчением вздохнула мать. – Разве ж этому учите? Вскоре ее пригласили в учительскую, и преподаватели стали подходить к ней.

«Чего это они?» – подумала мать. А они начали ругать ее сына. Он мешал им, сынок ее – Евдокимов Павел. Он срывал уроки, ходил без сменной обуви, не хотел учиться. Учителя говорили ей:

– Хорошо, что вы пришли. И мать кивала, и ругала сына, и говорила:

– Сама луплю, и вы лупите, пожалуйста. Ей нравилось, что она заодно с ними, умными, серьезными, образованными.

Учителя улыбались, почему-то укоризненно качали голо-

вами, а мать все больше злилась на сына.

«Хорек он, – думала. – Истрепал душу».

Она видела, как в учительской светло, как красиво и строго одеты учителя, мужчины и женщины. Потом она поглядела на пол: он был выкрашен светлой краской.

«Тяжело мыть-то его, – подумала. – Если только с порошочком».

Она вдруг вспомнила о сыне, что лежал сейчас битый дома.

«Больно ему, – подумала. – Нынче стонал».

И давящая, давно ушедшая за заботами жалость к сыну согнула ее. Она отвернулась и заплакала.

Мать слышала, что кто-то утешает ее, понимала, что надо перестать плакать, попрощаться и уйти отсюда. Ей стало жарко, и она подумала, что платок надо было снять.

Тихо, ни с кем не прощаясь, она вышла в коридор. Стены коридора были выкрашены салатовой краской. Свежий салатový цвет поднимался вверх и висел большим клубком в конце коридора. Он цеплялся за одежду, попадал на лестницу и превращался в редкий салатový туман, в котором, не замечая его, жили люди.

Он и я

Если бы не дождь, я мог бы идти медленно, совсем медленно. Улица тянется от железнодорожной станции до химического завода. Длинная улица, пятиэтажки из серого бетона, маленький пруд, над которым блинчатый, приторный запах от заводских труб, сиреневая бочка с молоком, пивнушка, здесь узкий переход через лужу по доскам.

Улица восстала. Пузырились фонари, налитые желтым светом, гудели автобусы, их неуклюжие зады приплясывали в воздухе. Кажется, тогда тоже был дождь, нет, дождь собирался весь день, и воздух слепился в туман, огромное монолитное здание из водяных капилляров.

Отец как-то нелепо умер: вечером не хотел ужинать, рано лег спать, а утром мама страшно закричала – он был холоден и мертв.

Сколько часов она провела в одной постели с мертвецом? Наверное, это было ее первой мыслью.

Я слышал, как потом она говорила подруге, что ссорилась с ним во сне, и потом уткнулась лицом в его голое плечо, и это оказалась не кожа, а что-то липкое, вязкое, и лицо ее опустилось в эту плотную массу, и она подумала о гипсе, и чувствовала, как лицо ее принимает четкую, строгую форму, и отодвинула лицо от этой формирующей массы, которая так и не вернула ей форму ее мужа. И сразу проснулась.

«Он умер, а я не чувствовал ничего, спал в соседней комнате, – думаю я. – Разве можно прожить хотя бы миг чужой жизнью? Кино, театр, тысячи примеров – можно прожить чужими страстями, и умереть чужой смертью, и забыть себя, и испугаться этого, начать вспоминать подробности своей жизни».

«Ее не надо выдумывать, это просто твоя жизнь, – думаю я, слизывая с губ горьковатый туман, я чувствую себя сопричастным жизни, происходящей вокруг. – Не надо ничего создавать заново, ты уже существуешь, гармония в движениях и дыхании, очертаниях тела и жажде свободы...»

Последний год жизни он окружал себя вещами-символами: старый игрушечный паровозик, компас, книжка о героях, черные очки, еще, кажется, авторучка с дарственной надписью.

Ему важно было, что знакомые и друзья называют его Колькой, а не Николаем Матвеевичем, – наверное, он хотел возратить время, вернуть самого себя и не смог.

...Дождь собирался весь день, и к вечеру воздух стал тяжел и влажен.

Шум машин похож на сильное дыхание. Я подумал, что мы так любим город потому, что его жизнь похожа на жизнь нашей души: мгновенные картинки, мгновенные открытия.

Мы с отцом идем довольно долго, оказываемся в сквере, разделенном на три короткие аллеи, с крашенными оранжевой краской скамейками. Зажглись фонари, высоко висящие

на столбах, несколько лампочек разбито.

Скамейка, которую он выбрал, – в конце центральной аллеи, темные кусты пенятся близко от нас.

Свет фонаря оказался за спиной. Оттого что я видел отца нечетко, но тишина наполнялась шорохами, его дыханием и движениями его тела, пространство передо мной казалось больше. Я старался четче увидеть его лицо, но чем больше я смотрел, тем более оно казалось мне незнакомым.

– Я хочу, чтобы ты стал мне приятелем, – говорил отец. – Понимаешь? Ты ведь любишь своего папку, правда? А сейчас только и бежишь на свою дискотеку.

В каждом слове – отчаяние, а я почему-то чувствую, что он лжет, ложь обычных, душащих все слов. Я знаю, что ему нужна любовь чужой женщины, а не моя и моей матери.

Месяц назад мы стояли с другом возле клуба, я увидел их, как только машина подъехала к тротуару.

– Вот они, – сказал я и вытянул вперед палец, не поднимая руки. Машина остановилась, и я увидел своего отца, рядом с ним – незнакомую женщину. Мы медленно подошли к машине, смотрели на них с любопытством и чувством сопротивления. Отец, казалось, улыбнулся нам вежливо и равнодушно, но я заметил, что взгляд его тревожно скользнул по моему лицу.

Белокурая женщина рядом с ним, ее темные глаза, толстый нос и расплывчатые большие губы. Она старается смотреть на нас со снисходительностью и умилением.

Я не хочу видеть отца рядом с чужой женщиной, чувствовать их близость – сосредоточен на пространстве между ними.

– Ну, варяги, что делать будем? – нарочито грубо спрашивает мой отец. Мы молчим.

– Не робей, – говорит он как можно более дружелюбно, хотя я чувствую, что раздражение уже бьется в нем.

Мое сознание перемещает женщину в другой мир, чужое пространство – я не хочу, чтобы она была с нами.

– Ну, что делать будем? – вдруг весело повторяет она слова отца. У нее уверенный голос; страх, тяжелый и удушливый страх, что эта женщина дорога моему отцу, охватывает меня.

Праздничная толпа вывалилась из клуба, сохраняя в лицах и телах жизнь большого влажного зала, пропитанного музыкой.

– Валяйте в машину, – говорит с покровительственной интонацией отец. Женщина, взглянув на мое испуганное лицо, усмехается. Мы не двигаемся.

Раздражение, которое я заметил в отце, вдруг выливается криком:

– Ну, быстрее садитесь, я кому говорю, промокашки!

Отец гонит машину по городу, увеличивая скорость. Сумерки наполняют темным светом улицы, стекают по стенам домов. Клуб остался далеко позади, а отец время от времени еще сыпет насмешками в мой адрес:

– Ехать не хотел, его покатаются приглашают взрослые люди, тоже мне, важная персона, – говорит он женщине, сидящей рядом с ним.

Я смотрю на ее белокурые волосы и вспоминаю слова мамы: «Отца опять нет дома, который вечер нет. Я стала ему не нужна». И много раз повторена эта уверенность в его лжи, равнодушии, готовности уйти – робко, как урок, который не знаешь, а только заучил первые фразы. «Он не может быть безжалостным к себе, поэтому он безжалостен к нам с тобой. Но я не могу говорить с ним об этом», – ее голос просит у меня прощения.

Мы подъезжаем к маленькому кафе. Ярко освещенная реклама слабо отражает наши лица сквозь скользкие маслянистые блики. Рядом вход.

Женщина сидит возле отца, напротив меня. Я разглядываю ее: она моложе моей матери, но кожа – нездорового серого цвета, ее волосы окрашены в белый цвет и завиты, они рассыпаны по плечам. На ней бархатный пиджак со следами пепла на лацкане, и она кого-то без конца изображает, пока ест рыбу и пьет вино.

Отец вдруг спрашивает, заметила ли она, что он в новом костюме, английском. Женщина кивает. Через короткую паузу он говорит, что она – самая красивая женщина в городе. В тот момент, когда женщина в знак благодарности вынимает из своего рта сигарету и протягивает ее отцу, я думаю, что женщина эта почему-то скрывает саму себя и хочет казаться

просто женщиной, без имени. Я понимаю, сам не зная, как я могу понимать это, что она давно стала женщиной для всех мужчин и по-настоящему влюбиться в нее невозможно.

Я хочу думать об этом равнодушно, с насмешкой, но чувствую что, если теперь заставлю себя не думать обо всем этом, то нарушу что-то важное в себе.

«Неужели он с ней только потому, что она – женского рода, а он – мужского?» – думаю я об отце.

Мне кажется, что все люди в кафе смотрят на нас и догадываются, что я сижу за столиком с отцом и женщиной моего отца, и смотрят печально, и презирают меня. Я торопливо выбегаю из кафе...

Что-то случилось со всеми нами в нашем доме, как будто он уже начал разрушаться, мы перестали понимать друг друга, как будто нарушился механизм общения, и каждый начал считать себя обиженным. Каждый начал защищаться по-своему.

Я не осознавал тогда, как мы связаны. Я не знал, что так может быть: сначала ты любимец семьи, у тебя все в порядке, а потом вдруг хаос, разрываются нити, и ты уже только часть мира, движущаяся по неизвестному пути молекула. И мир дробится – ты один.

Больше всех страдает моя мама. Он умер, а она ждет его каждый вечер и волнуется, а он, как часто было все последние месяцы, не приходит ночевать.

Он был частью ее жизни, и, наверное, она сама не знала,

хорошо это или плохо – думать о том, как понравиться ему, как двигаться, о чем думать и как владеть своим телом, чтобы он снова полюбил ее и вернулся к ней.

– Его погубила страсть этой женщины, – говорит моя мать. – Твой отец всегда жил наугад, десятки людей называют себя его приятелями, а он просто верил человеческим чувствам, он думал, что эта женщина любит его больше, чем я.

А перед моими глазами – людная улица, тесный мир, населенный мужчинами и женщинами, движущаяся толпа, отец рядом с белокурой женщиной, – я думаю о том, что отец так жил, спасаясь от одиночества и размышлений о самом себе, он не знал о себе слишком многого.

Мне кажется, что я перестал чувствовать к кому-либо сострадание, ненависть или любовь, с тех пор как он умер, из страха перед этими чувствами. Но я не в силах преодолеть отчаяния, что могу испытывать самые низменные чувства.

Я не знаю, сколько идет этот дождь. Запах влажной одежды. Попадаешь под дождь, а потом на тебе все мягкое, липкое, ворсистое – балахон. Тело чувствует намокшие складки одежды. Лишний груз, лишаящий свободы.

И еще изжога от кофе. В этом магазине, в кафетерии всегда белесый жидкий кофе, на дне чашки – толстая кожа гущи.

И целый день одно воспоминание: зубоврачебный кабинет, незнакомая женщина-врач, хозяйка металлических ин-

струментов и огромного кресла. Она объясняет, что надо прийти еще раз через три дня, а я, чувствуя во рту боль, лишь слежу за ее движениями, я не слышу ее; наконец она повторяет – настойчиво, сердито, и я повторяю шепотом, что мне больно, и тогда она – жест к медсестре – злобно:

– Я такого глупого еще не видывала.

А потом ее пальцы на моих губах, все женские руки похожи на руки моей матери, и мне неловко в кресле. Я чувствую, как деревенеют губы, которых она касается, ее уверенные руки, умеющие все делать, и на секунду – защищенность, а потом чужой насмешливый голос, и я вздрагиваю, я понимаю, что это – чужая женщина, а не моя мама, и она со злобой смотрит на меня. И смешно, и стыдно.

Но я хочу любить ее, я стараюсь, я робко и заискивающе заглядываю ей в глаза. Но врач, женщина с руками моей матери, презрительно смотрит на меня.

Я не могу уйти, но она уже не видит меня, она повернулась к медсестре и рассказывает о своей даче и цветах на участке, которые вянут по непонятной причине. Ее раздражает их смерть.

– Ничего, я их сажаю снова, каждое лето, – говорит она... Он как-то сказал мне:

– Разве мы для вас, промокашек нервных, делаем новую жизнь.

Наверное, он все-таки чувствовал себя хозяином жизни. И считал, что на многое имеет право, право сильного. Я

старался как можно реже бывать дома. Он звонил друзьям, властно спрашивал, где я, иногда грозил мне и всегда говорил о матери.

«Ему, для того чтобы жить, нужна семья, – думал я. – И чтобы выжить. А та белокурая женщина?»

Его машина стоит в гараже неподалеку от дома. Мы идем к гаражу, он выводит машину, сажает меня рядом.

Электрический свет облепил бока машины. На проспекте мы сразу попадаем под красный свет, останавливаемся, я провожу ладонью по лицу и чувствую свое прерывистое дыхание.

Он говорит мне, что когда думает о нас с матерью, то чувствует в себе силу, похожую на ту, давнюю, появившуюся возле меня новорожденного, но тогда он точно знал, что надо делать, чтобы нам было хорошо, а сейчас слишком часто напряженное желание понять меня разбивается о невидимую стену, и он чувствует вдруг бессилие.

– Я не изменяю твоей матери, – говорит он. – Просто человек имеет право прожить несколько жизней.

«Он нашел выход, – думал я тогда. – Он нашел выход, но только для себя, а не для меня и мамы».

В тот вечер, когда мы мотались с ним вдвоем по городу на машине, он сказал, что знает, откуда что берется: я, его сын, засомневался в нем, своем отце, в крепости своего дома. Говоря так, он больше всего жалел самого себя.

– Ты еще соплив знать... – он не договорил, сжал губы,

руки его цепко и уверенно держали руль.

Я хочу рассказать ему, что был в ее доме, прятался в подъезде, когда он вошел туда: пахло палеными листьями, пятиэтажка из серого кирпича, распахнутая дверь подъезда, отец поднимается на третий этаж, нажимает кнопку звонка, вызвав протяжную трель, слышную даже мне внизу, и сразу же дверь открывается, в темном проеме стоит эта белокурая женщина, спрашивает что-то невнятно, видимо, шутливо, потому что он отвечает громко:

– Пришел лучший мужчина, лучший друг, профессионал.

А потом дверь захлопывается и становится очень тихо. Я хочу простить его и не могу, стараюсь быть циничным, взрослым, все понимающим, но не могу соединить два измерения, в которых он живет.

Я хочу закрыть глаза, потом открыть широко и узнать его, погладить по бритой щеке, ощущая шершавость кожи, узнать в чужом человеке, приходящем от нее, своего отца. Но я делаю все наоборот, стараюсь в отце увидеть чужое, незнакомое, чтобы право иметь не зависеть в душе от него.

Теперь ничего нельзя вернуть...

Когда мама долго ждет, в ее движениях чувствуется покорность. Я слышу ее голос, близко вижу большое лицо, узнаваемое даже в темноте по малейшему вздоху или возгласу. И резкое удивление от мысли, что мама – это и есть я, только много красивее и совершеннее, и сразу осознание нелепости этой мысли, и страдальческое чувство родства, и

ее слова о ранке на моей руке – это давно, в детстве, сейчас уже не больно, – и ее смелость, восхищающая меня, маленького, смелость жить. И я живу, подражая ей.

И постоянный вопрос детства: «Мама, я не буду виноват?» Ее спокойный ответ: «Я все твои беды, твою вину на себя беру». И мой порыв безудержного откровения – о самом тайном, и ее улыбка от сознания силы своего чувства, и мой детский страх греха. И все-таки совершение самого страшного греха:

– Мама, я не хотел идти в школу и сказал, что ты была очень больна. И тяжелая пауза, потом ее медленное:

– Я твою вину на себя беру; что же нам делать...

И миг величайшей на свете любви, и зыбкий, условный мир вокруг, в котором надо привыкнуть жить.

Жесткий звук школьного звонка, еще можно успеть искупить свою вину, и я обнаруживаю, что бегу домой, чтобы успеть.

И потом часто бегу во сне с тем же ощущением потери и страхом не успеть к ней...

Сейчас мама шепчет укоризненно:

– Что же так поздно, ты ведь знаешь, что теперь я всегда одна, – и целует меня.

Страдание изменило ее лицо, оно медленно поглощает ее, привносит что-то неуловимо бесформенное в ее лицо, тело, движения часто неточны – тогда она кажется мне отражением отца, его медленным повторением.

«Он умер, – думаю я, ложась на свой узкий диванчик и закрывая глаза. – Он умер, хотя ему было только сорок три года».

Мама не знает, что я был у этой женщины сегодня. Когда она увидела меня, ее лицо стало красным и воспаленным. Она не поверила мне, стала куда-то звонить, я слышал имя моего отца.

Я не доверял ей, мне казалось, что она только испуганна, лишь изображает передо мной и перед собой горе.

– Только я не знаю, где он сейчас, – растерянно сказала она. – И никто не знает.

Единственная искренняя фраза. Она закурила.

– Все более сложно, чем ты думаешь, – сказала она наконец. – Хотя сейчас это не имеет значения, степень вины.

Другое выражение лица, новое запутывает меня, я ищу стереотип поведения женщин, чтобы что-то объяснить себе, и не могу это сделать. В ее словах – недосказанность, как будто она ждет или ищет в своей душе продолжение фразы и вопросительно смотрит на меня.

– Он ничего не сказал, он ушел, – вдруг шепчет она. – Каждый уходит по своей световой линии и не останавливается.

И ее неестественность страшнее крика, грубости, плача – это уже роль, взятое на себя обязательство перед кем-то быть именно такой, не изменять этой роли.

...Длинный переход на этой станции. Идешь, идешь, сна-

чала за женщиной в синем плаще, потом за парнем в огромной рыжей шапке, рядом – старушка с воинственным лицом.

Какой длинный переход на этой станции. Можно сказать: круглый коридор, мраморный коридор. Что за чушь лезет мне в голову. Ничего нет вокруг, только я есть, я существую и вижу этот коридор.

Я чувствую, как мир делается маленьким и душным – с грохочущими вагонами метро, толпой незнакомых людей. Я считаю время, перебираю его, как монеты, на своей ладони: час счастья, час горя, тридцать минут раздумья.

Холодно. Улицы наполнены холодным воздухом. Пространство постоянно принимает какую-нибудь форму, превращается в улицы, комнаты, вещи. И пространство – вне этих улиц, домов, предметов.

Опять во мне эта боль, оттого что я отдельно от всех людей и остро чувствую это. Отрывание пуповины.

Отец – надо помнить о нем каждую мелочь. Может ли память стареть? Она не может исчезнуть, она – пространство, вне времени, я постоянно вспоминаю. Зачем мне память? Чтобы защищаться? Я думаю, во мне не боль, а страх.

Надо идти. Только не останавливаться. Вот дерево, вот черное небо, свет фонаря, асфальт, малыша мужчина держит за руку, тянет вперед, а он останавливается, смеется. Это уже не он, а ты – вернулось чувство защищенности. Ты сидишь у окна в своей комнате, подходит отец, за что-то ругает тебя, а ты смеешься.

Можно просто подойти к нашему дому, встать в кулке света, падающего из подъезда, чтобы меня было видно маме, если ей вдруг надо будет видеть меня, и можно думать обо всем на пустой улице.

Нет, я не хочу сейчас быть один, я смотрю на уверенных в себе, смеющихся людей, наполняющих вечерние улицы, в чем-то похожих друг на друга в ожидании удовольствий, я думаю о том, какая прекрасная и в то же время равнодушная сила в движении толпы.

Было холодно, и я сделал шаг к отцу, потом я провел пальцем вдоль его ладони – он коротко засмеялся. Мне показалось, что он думает о чем-то своем, и я стал вглядываться в его лицо, чтобы понять.

Это наивно: понять человека, изучая его лоб, линию носа, очертания губ, глаза, тело. Но в эту минуту я чувствую огромную нежность к нему.

Он улыбается страшной, бессмысленной улыбкой, как будто под прессом чужой силы. У него был идеал – сильная личность, которой «все покоряется», которой «все доступно», он водил меня на американские фильмы со Шварценеггером и Сталлоне в главных ролях. Мужчина, совершающий насилие над собой во славу идеала силы, мой отец, веривший в то, что именно так надо жить, его слова, поступки, резкость, фраза: «Каждый мужик рожден для того, чтобы проявить себя, все узнать, попробовать»; я думаю, в чем же моя свобода, свобода других людей, свобода духа и свобода

действия.

Он боялся забыть самого себя, он как будто боролся с идеалом «сильной личности», с самим собой, другим, но я был за стеной одиночества, окружавшей его.

Мне мешает думать жизнь листьев и деревьев, мимо которых я прохожу, тоска снова возвращается, став привычной и тягучей, я повторяю себе: «Но я не знал, как спасти его, себя, маму от наших обид, жестокости, я не знаю, как мне жить теперь».

Время забилось между мной и им, время, в котором я появился и больше не повторяюсь и из которого он медленно уходит, каждый день, каждую ночь, с нашими воспоминаниями и вопросами...

Когда-то он рассказывал мне, что был душой компании, теперь многие его приятели удивились бы, узнав, что он стал простым работягой, солидным семьянином, – казалось, он родился для вечеринок, более других знал, что надо делать в этом веселье, сколько закупать вина и до какой степени доводить настроение отчаянной лихости.

Он рассказывал все это мне с тревожным любопытством угадывающего человека – как я воспринимаю его откровения?

– Но мне мешал стыд. Я скрывал свой стыд как тайну, но постоянно думал о том, что считал уходом, – говорил отец. – Я хотел жить, не боясь этого стыда, но он иногда и теперь мучает меня по пустякам даже и перед матерью твоей, хотя

я ни в чем не виноват, жили как все, стыд, сынок, – великий контролер души. . .

Его глаза то загораются мягким светом, то меркнут, омраченные печалью. Он уже не узнает, как мы с мамой живем в разрушенном доме, потому что я все равно не смогу остановить время, спасти его и себя от отчаяния и одиночества. Я боюсь забыть его, его голос, глаза, руки.

Может быть, в его жизни все еще только начиналось? У меня такое ощущение, что я один в толпе, все незнакомо мне, я ищу глазами человека, которому можно сказать про самое главное, про то, что у меня теперь нет отца. Но все окружены густыми потоками воздуха, звуками, одеждой, как скорлупой, я вижу только себя самого – как чужого испуганного подростка, чувствующего бессилие перед каменной громадой города. Я вижу, что у меня жестокое лицо. У звуков металлический привкус, горячий воздух, мир расколот на множество частей – беспомощные люди разъединены, разбросаны по своим ячейкам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.